

**Сергей Николаевич Сергеев-Ценский**

# **Печаль полей**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
С32

С32 **Сергей Николаевич Сергеев-Ценский**  
Печаль полей / Сергей Николаевич Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2012. – 72 с.

**ISBN 978-5-4241-3323-7**

Стиль Сергеева-Ценского отличает яркая образность; его описания природы, изображения характеров и батальные сцены богаты сравнениями и метафорами.

**ISBN 978-5-4241-3323-7**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Сергеев-Ценский Сергей  
Печаль полей



Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Печаль полей

Поэма

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Силач Никита Дехтянский, который на ярмарках на потеху мясникам и краснорядцам плясал весь обвешанный пудовыми гирями, носил лошадей и железные полосы вязал в узлы, ехал ночью весенними полями и пел песню.

Не знал никаких подходящих и легких слов Никита и пел:

И-и-э-э-эх да-да-а...

А-а-а-э-эхх да-а...

Кузов телеги качался, как люлька, колеса внизу бормотали, и фыркала лошадь - степенная, старая хозяйственная коняга; умела она глядеть только в землю и на земле видела только дороги; шла коротконогим шагом и слушала, как пел Никита, поскрипывали колеса, вздыхали поля.

Чуть зеленоватая луна вверху глядела сквозь облака, точно чье-то голое тело сквозь дырявое одеяло, и большое разметавшееся кругом неясное тело полей медленно двигалось куда-то рядом с телегой.

Никита был приземистый и широкий во всю телегу. Лежал на свежей соломе, и видно было ему небо и поля, оснеженные луной: все те же поля, - лет сорок он видел их такими, - и небо то же.

Немного пьян был Никита от выпитой водки, запаха полей и своей силы, и простыми казались ему поля и небо. "Зеленя тянут, - думал Никита. - Дожжички идут, - вот поэтому тянут... правильно! Ишь болока ладнаются... правильная весна, май месяц. Гляди, опять утречком дождик прыснет... А то нет нешто? Обязательно прыснет..." И пел:

Э-э-эх да эх ты-ы-ы!

И-и-и-эх да дда-а...

Перепела били с разных сторон, точно спеша шелкали крепкие орехи. Дальние, самые дальние казались ласковой и нежнее, а у ближних был такой сочный, росистый задор, будто они и выросли из земли вместе с зелеными и вот именно ими что-то торопилась сказать земля.

Никита делал голос нарочно жалобным, когда тянул концы: нельзя было иначе петь ту песню, которую он придумал.

Густым, бездонным черноземом пахло с полей: сырой - он был слышнее ночью. Никита вдыхал его широченной грудью и представлял сытую черную корову с двухведерным выменем парного молока: будто паслась в зеленях корова, смотрела на него боком и взматывала хвостом.

Пар навис над полями, низенький, синеватый и теплый: это земля надышала за ночь.

По лугам, по низинам, ближе к земной глубине, пар стоял гуще и мягче: на луне далеко было видно, - сколько глазомхватишь, - всё ровные поля в пару.

Жаворонки вскрикивали вдруг по-дневному торопливо: кто-то беспокоил их на кочках - сычи, или суслики, или зайцы.

Телега дрожала во всех суставах, проваливалась в выбоины, бормотала по-стариковски. От луны к земле протянулись лучи, как дождь при солнце, сквозные и мягкие.

Показалось Никите, что плохо идет лошадь, и он прикрикнул:  
- Н-но, идет она! - и чуть потянул за вожжи. Лошадь фыркнула, мотнула голову; хотела было побежать трусцой, - раздумала, пошла шагом.

А-а-а-ах ты да ну-у...

А-на-а на да э-э-э...

полусонно промышчал Никита: спать хотелось.

У облаков, ближе к луне, чуть пожелтели щеки, а дальше они растянулись мягкие, темно-серые, чуть зеленые, точно июньское сено с поемных лугов, разбросанное в рядах для сушки.

Жирные были облака и ленивые, но умные какие-то, и Никита думал о них уверенно: "Ладнаются... Утречком дождик будет".

Старую извечную работу чувствовал кругом Никита и понимал нутром, что облакам и не нужно было спешить, как не нужно спешить и его старой коняге. Все было сочное, здоровое кругом - и земля и небо - и все работало и отдыхало, работало и отдыхало. Почему-то думалось еще, что земле, с натугой засеянной во всех бороздах, как человеку, приятно будет летом, когда поставят копны по-паше.

От привязанной сзади мазицы пахло крепким березовым дегтем: только что купил в городе. Верст десять еще оставалось до Дехтянки.

Разомлели поля от сна. "Родимые!" - ласково думал о них Никита.

Потихоньку тянул:

И-и-э-э-э-э-ы-ы-ы...

и закрывал уже глаза: спать хотелось.

Из перепелиного боя сплелась какая-то длинная сеть с тонкими ячейками. В эту сеть попали клочья облаков - зеленых, как речная тина, несколько звезд и кусок месяца. Сеть потянул кто-то следом за телегой, а потом уже стало видно, что тянут невод. Тянули дехтянские мужики, и узнал их всех Никита.

Вода в реке была теплая; на том берегу гоготали гуси... Долго тянули невод. У берегов шли голые, кричали, нагибаясь, хлопали палками по воде, желтели спины.

Потом опять, точно в просветы, стало слышно, как бьют перепела и, качаясь, скрипит телега, а Никите очень хотелось узнать, много ли вытянут, и хотелось, чтобы больше...

Больно ударил кто-то кнутом Никиту, и он вскочил. Темно было. Протер глаза. Рубашка была чуть мокрая: сеялся дождь. Кричал около кто-то длинный, за ним еще трое-четверо-пятеро. Солома в телеге намокла; посвежело. Собака лаяла около колес. Сопела рядом чья-то чужая лошадь. Дальше еще лошади - в темноте и дожде чуть видно. Сосновым тесом пахло.

- Черт! - ругался длинный. - Что стал поперек дороги, - проехать нельзя! Леший!.. Видишь, канава сбоку, культяпый черт?

Оглянулся Никита на свою лошадь, - в зеленях: подняла голову и жует. Телега поперек дороги; дорога узкая.

- Но-о, плохой! - дернул за вожжу и повернул на дорогу.

- Видишь, с кладью едем, - не унялся длинный, - лес возем?.. Мы тебе сворачивать в зелена будем, ахряб?

- Ну что ж?.. Ехал да уснул - такое дело, - во весь рот зевнул Никита.

Почесался. Вспомнил, что думал о дожде, и сказал:

- Так и знал, что дождик пойдет: болока ладнались... В Сухотинку, што ль? Знал, что в селе Сухотинке строят винокуренный завод и часто туда тянулись обозы то с кирпичом, то с лесом, знал, что и эти в Сухотинку.

- Трогай знай!.. В Сухотинку не в Сухотинку - ты себе трогай, отозвался длинный.

- Строгой какой! - Никита разглядел, что от дождя он накрыл картуз и плечи рядниной и что еще откуда-то с задних возов подошли двое, и тронул:

- Н-но, милой!

Лошадь дернула, прошла шагов пять и стала: вожжа засекала ногу.

- Дурачей, черт! Кнута хочешь?.. Чего опять стал? - закричал длинный.

- Я-то дурачей, а ты, должно, дураче меня, - сказал Никита, слезая.

- Обротник, дьявол!

- Еще дураче меня, - опять так же сказал Никита и качнул не спеша головой.

- Снохач! - хрипнул длинный.

Не было снохи у Никиты.

- Эх ты, жулик нескладный! Что свой купорос выливаешь? - засмеялся, чуть-чуть удивляясь, Никита.

Он выпрастывал вожжу из-под ноги лошади, нагнувшись к самой бабке и вдыхая, точно высасывая, вкусно сырую навозную землю, когда сзади ударили его кнутом вдоль спины.

- Вот тебе, черту!

Никита осерчал не сразу. Он повернулся, взметнул глазами на черную толпу гогочущих подводчиков, провел тыльной частью руки по сутулой спине и спросил всех тихо:

- Это к чему же?

Потому и спросил, что не понял, зачем его ударил длинный.

Но подводчикам надоел Никита, и дождь, и ночь. Подводчики были городские - в пиджаках и сапогах. Окружив Никиту, заорали все сразу. Двое с двух сторон начали хлестать старую лошадедку. Лошадедка испуганно рванула, загремела по дороге, а Никита остался.

- Идолы! - плюнул он наземь.

Побежал было догонять лошадь, да кто-то сзади толкнул его и сшиб картуз.

Тогда и случилось то, о чем после долго говорили и в Сухотинке, и в Дехтянке Большой, и в Дехтянке Малой, и в городе на лесных пристанях.

Никита бросился на длинного, сбил его с ног, примял по-медвежьки, и когда остальные семеро кинулись его выручать, разогнал их далеко по зеленым. Потом подошел к подводам (подвод было четырнадцать) и, хватаясь руками за колеса, смаху одну за другой опрокинул их все в канаву вместе с лошадьми.

Потом нашел недалеко впереди свою конягу, уселся и закричал назад ядовитое и простое:

- Вот тебе и завод Сухотинский!

Подождал немного, послушал, как ругались, грозились и кричали, пробуя поднять крайний воз, и добавил:

- А теперь, должно, простоите должее. Н-но, идет!.. - дернул лошадь и затрусил рысцей.

Когда, кое-как оправившись, поздно утром приехал обоз и узнали об этом в Сухотинке, - недавно почувствовавшая себя в седьмой раз беременной Анна

Ознобишина, жена сухотинского помещика, почему-то сочла это дурным знаком.

Она ушла в дальнюю аллею сада, где никто не мог бы ее видеть, и там долго плакала от каких-то темных предчувствий, которых не поняли бы ни ясный день вблизи, ни близкие люди, занятые суетой постройки.

## II

Завод в Сухотинке начали строить рано, чуть стаял снег. По полям, еще сырым от недавнего половодья, стягивали сюда камень, лес и рабочих.

Поля здесь были терпеливые и мирные, как стада овец. Недалеко от Сухотинки чистенький, беленький стоял монастырь - Ольгина пустынь, и как-то шло это к полям, что теперь, в великий пост, длинно-длинно звонили в одинокий колокол.

Ничего не было высокого в полях, и как-то хорошо было видеть, что выше всего золотели в небе кресты церквей.

И посреди будущего завода на мачтовом бревне тоже водрузили саженный крест и зачем-то обмотали его камчатным полотенцем.

На закладке завода отслужили молебен, целый день потом угощали гостей и священника с причтом, и подрядчик Фома Иваныч поставил своим рабочим ведро водки.

Барский дом в Сухотинке был большой, старый, каменный, со множеством низких и пустых комнат. Из окон его, теперь кое-где открытых, весело было слушать, как сочно стучали топоры, обтесывая пахучие бревна. Иногда каменщики пели.

Завод строили на выгоне за липовой аллеей, и видны были только верхушки лесов да крест, но представлялось ясно, как подыметя там трехэтажное, деловитое с виду здание и будет глядеть на поля, как хозяин. И этому будущему хозяину полей служило теперь все, что было в усадьбе: лошади, люди и сам Ознобишин - высокий, тонкий, лет сорока, с розовой круглой головой, остриженной до самой кожи.

Всегда со складным аршином, в нахлобученном синем картузе, сутулый и сухой, с прямой и узкой красной бородой, сновал по постройкам Фома Иваныч, отмерял, рассчитывал, кричал на рабочих:

- Борзей, ребята, а ну, борзей!

Ознобишин говорил с ним шутливо:

- Ну, признавайся, разбойник, сколько тяпнешь?

- Что вы, барин, - возмущался Фома Иваныч, - мы по чести! Дешево и то взяли... Не то тяпнуть, - дай бог концы с концами свести... Как своих не доложу, то и слава богу!

- Пой, пой, брат! Тяни Лазаря! - хлопал его по сухой спине Ознобишин. Какие вы все петь мастера! И где учились!

- Как же пой?... Цены-то, цены-то на все как взбодрили! Тут запоешь, чesarкой запоешь... Только и славы будет, что завод построил... да что дома зря не болтался... Потому - дела теперь тупые!..

- А зачем я этот завод строю, ты не знаешь? - перебивал Ознобишин.

- Зачем?... Известно зачем! - с суровым лицом говорил Фома Иваныч.

- Будто знаешь? - вглядывался в него Ознобишин.

- Известно, - доходы будете получать... Маленькое дело - завод! Тут обернуть-

ся можно... завод!

И не глядел на Ознобишина, утопивши глаза в полях.

- Знаешь, значит... Вот поди ж ты какой! А я так нет, - говорил, уже не смеясь, Ознобишин.

Иногда на постройке появлялась сестра Анны - девочка лет двенадцати, Маша. С серьезным, озабоченным видом, привыкшая только хохотать и куролесить, она ходила между грудями красного кирпича и желтых досок, натыкалась на известковые ямы и спрашивала Фому Иваныча, показывая пальцем:

- Зачем это?

- Известка, барышня, - отвечал Фома Иваныч.

- Зачем известка?

- Известка? А как же без известки? Без известки кирпичи бы не держались; без известки нельзя, - изумлялся, улыбаясь, Фома Иваныч.

- А-а! - тянула Маша и потом спрашивала опять: - А бревна зачем?

- Балочки?.. Это - балочки... Потолки утверждать... А до крыши дойдем, - опорчобы был, - стропила ставить.

- А-а! - соглашалась Маша и кивала головою.

Все время напряженно слушающей была Анна, - от этого лицо ее было как у глухих. Лицо было все из округлых вечерних линий; они не ослепляют глаза, но в них покой: это усталый день протянул руку ночи.

Шестеро детей могло бы быть у Анны - четыре девочки и два мальчика; могло бы, но не было их, - умирали нерожденными. Выделялся из тела какой-то яд, убивавший их то на шестом, то на седьмом месяце утробной жизни, и с каждым новыми неудавшимися родами у Анны рос испуг перед тем, невидным.

В комнатах дома, широкого и низкого, казалось, были заперты эти немые поля кругом - пусто было и глухо, и не наполнял их ни молодой звонкий голос Маши, ни рассыпчатый упругий голос Ознобишина.

Комнаты были жуткие, и для Анны каждая жила своей особой жизнью: жива была тем, кто в ней умер когда-то, давно, - все равно, сколько лет назад; ясно чудилось, что в каждой умер кто-то. Представлялись отравленные, повешенные, засеченные кнутом.

Жив еще был восьмидесятилетний дед Ознобишина, посадивший внука хозяйничать в Сухотинке, а сам разъезжавший где-то по большим ярмаркам, по городам, там, где сильнее билась жила жизни, и пропадавший целыми месяцами. До Сухотинки редко доходили о нем слухи.

В одной из дальних комнат дома был еще столетний старик, прадед Ознобишина лежал в постели, позабытый и жизнью и смертью, сухой, скорченный, с обтянутым голым черепом, огромным над маленьким темным лицом. Смотрел на всех тусклыми, как две свечи в ночной церкви, глазами, жевал губами, кроткими и тонкими, и не говорил уже ни слова: все забыл.

### III

Ознобишин охотился и потому держал красногонов. Были два волкодава мудрый старик Целуй и молодой Приемыш, и смычка желтомордых заячьих гончих.

Целуй был ширококостый, весь черный, одноглазый пес. От старости он взмылил кое-где сединою, отяжелел, но все еще был непобедимо крепок. Стаю,

и всю усадьбу, и деревню вокруг усадьбы держал в порядке - к какому-то своему собачьему порядку, не всегда понятном для людей.

На охоте он вел весь гон и трубил низкими нотами, и если случалось кому-нибудь из молодых обогнать его и зарваться вперед, то Целуй догонял его злыми бросками, хватал за холку, учительски трепал и отбрасывал вбок. Когда же в холодные зимы подходил близко бродячий волк и выл и лопухая молодежь от страха забивалась в подполье, когда собаки постарше начинали вопросительно толпиться около крыльца, на котором дремал Целуй, и тоже выли, - Целуй медленно просыпался, ежился, оглядывался кругом и слушал: чесался толстой лапой, зевал и деловито тянулся, выправляя члены сначала на передних, потом на задних ногах. Когда же он начинал трубить отрывисто и глухо (он никогда не выл и не лалял - только трубил), - это значило, что стая должна была сходиться в круг. Если долго не являлись люди, Целуй вел свою свору сам, и смутно слышалась потом со стороны снежных полей переключка собачьего гона: труба Целуя, визгливые подголоски гончих сук, неокрепший переходный голос Приемыша. А когда стая возвращалась назад с красными фыркающими мордами, - в усадьбе знали, что волк затравлен.

Летом Целуй сам обходил утиные болота и распугивал, как хозяин, сельских ребятишек, гоняющих палками бескрылых утят; заходящим в сад свиньям начисто отгрызал хвосты и уши, а когда шел по усадьбе или по сельской улице, опустив голову и холодно прищутив глаз, все уступали ему дорогу.

Кроме гончих, были еще собаки - простые, бесхитростные дворняги, неуклюжие, с пухлой шерстью. Красногоны смотрели на них презрительно и держались от них в стороне.

Для охоты Ознобишин вырастил верхового кабардинца с тонкой запрокинутой головой и зобатой шеей. Хорошо он ходил под седлом, золотистый, сухоногий, никогда не устававший и не знавший некрасивых движений, и за зайцами по осенним полям скакал, как большущий заяц.

Звали его Дядей, и по-человечески точно различал он все оттенки, какие вкладывали в это имя. Любил, когда звали его протяжно: "Дя-я-дюшка... Дя-я-дюшка... Дя-я-денька..." - тогда он ласково кивал головой и протягивал мягкие губы, точно для поцелуя. Скажут коротко: "Дядя" - вздрогнет, вздернет голову, поставит уши торчком и чем-то фиолетовым, пугливым озарит глаза.

Кончики ушей у него были черные, бабки - белые. Четырехлетний карапуз, сынишка приказчика Витька, когда обходил по утрам конюшню, обязательно взбирался по Дядиным ногам вверх, как по деревянным столбам, и Дядя только добродушно отмахивался от него холеным хвостом и подрагивал теплой кожей от щекотки.

Конюшня была просторная, как и все в Сухотинке. Целый день звучно жевали лошади, а сколько их - точно не знал Ознобишин. Только кучер Серапион, которого для упрощения звали Скорпионом, иногда от скуки брал мел и на деревянных дощечках над стойлами выводил медленными квадратными буквами их имена: "Кабыла Сартиха, кабыла смелая, жирибец змей..." Были восьмивершковые орловцы, красиво скованные полукровки, зубатые киргизы, даже червонные тонкие эстонцы и шведки с дюжими шеями.

По темным стойлам бродили козлы, поблескивали загадочными глазами, мекали, и вид у них был забывчиво занятой, туго-озабоченный, как у рачительных

домовых. На перекладинах, клювами вниз, висели убитые сороки.

Отец Витьки, Прокофий, долго служивший в Сухотинке, одержим был страстью к голубям всяких пород, и рядом с его флигелем, распыжившись во все стороны от добавочных ящиков и пристроек, неуклюже расселась на столбах голубятня с хитрыми дверцами и проволочными сетками от кошек.

В тихие вечера, когда свободен был Прокофий, начиналась эта странная, увлекавшая всю усадьбу забава. Точно на парад или на бал, выпускались на крышу голубятни все эти трубачи и щиграши, чистые ленточные и ленточные тульские, монахи и галочки, скакуны и винтовые - охорашивались, выправляли крылья, переминались на невидных лапках, может быть, чуть волновались, как артисты перед выходом. Потом Прокофий тихо начинал ссывать их шестом, точно заигрывал с ними, как деревенский парень с девками-подростками, и они жеманились, переглядывались, сползали с крыши и опять подлетывали, карабкались на конек и усаживались, как резьба, раскрашенная в самые чистые и в то же время нежные тона.

Опять доставал их ползучий шест. Перелетали на крышу флигеля, вглядывались в розовые облака на западе, нанизанные на последние лучи, в верхушки лип и ласковое небо над собою; самцы начинали гуркотать и кивать зобами.

Но Прокофий - этот головастый человек с мягкими усами, заползающими в рот, - не давал им покоя: ухал, свистал, хлопал шестом по крыше; Витька, пыжась, горячо ругал их и бросал в них комьями земли.

Наконец воротникастый винтовой, за мешок овса купленный Прокофием в городе, красивый старик с голубым воротником на белой шее, размашисто снимался, делал в воздухе пять-шесть ленивых остановок, точно купался и нырял, потом садился на крышу дома. За ним срывался другой, коричневый до красноты, белоголовый турман-трубач, подымался невысоко и мягко падал оттуда кубарем через голову оборотами, точно веревку вил. За этим скромная галочка вспархивала и кружилась томно и нежно, будто чья-то невидная рука обмахивалась шелковым черным платочком.

И вдруг, звучно крича крыльями, отрывалась от крыш вся стая, и начиналось то удивительное представление, которое так любил Прокофий. Голуби то неподвижно плавали, как ястреба, то шарахались вверх и оттуда летели комом, потом распускали парашюты и танцевали на кончиках крыльев, то кругами подымались страшно высоко, почти пропадали из глаз, реяли мушинными точками, и радостен был их взлет Прокофию.

В стороне от стаи маячили два скакуна; эти не летали со стайей: искали поблизости других голубей.

- Скакуны-то какие! - восторженно хвалил их внизу Прокофий. - Просто им и цены нет... Не то какого-нибудь чужака, - всю бы охоту отбили, - истинный крест... Так бы и была здесь вся охота, только что охот здесь нет...

Голос у Прокофия был лучезарный какой-то, или это казалось так оттого, что глаза у него лучились: на загорелом морщинистом, жестком лице совсем мальчишеские большие глаза, такие же, как у Витьки.

Так много было у него любви к голубям, что заразил он ею всю усадьбу. Даже сам Ознобишин умел отличить длинноногого скакуна от пестрого щиграша и трубача от винтового.

Небо после захода солнца бывает всегда испуганно легким, и тяжелеет земля,

и в этом небе так тревожно было следить, как возвращалась бог знает с каких свежих высот стая.

Суживали и суживали круги, выявлялись яснее и четче, и вот уже заметно было, как вперебой один перед другим падали и отталкивались на резиновых крыльях, перевортывались и снова падали, и долго красовались усталые, дрожа и трепеща извивами мягких, заволоченных сумерками тонов.

Два сада было - верхний и нижний, а между ними кругом дома цветник.

С закрученных клумб сползали на усыпанные песком дорожки густые ковры из портулаков, и над ними сочными, хоть выжми, грудами теснились левкой, ирисы, маки, ночная красавица, девица в зелени, резеда - и все это било вверх пестрым фонтаном роз.

Приходили на поливку желтые, красные, синие девки из села, и их с лейками, как петух кур, водил по клумбам садовник Илья, сухой старичок в белом фартуке.

Колдовал он по целым зимам в теплых до истомы подземельях большой оранжереи, где пушистые персики вылеживались в печурках и цвели лимоны, а летом на высокой средней клумбе заводил цветочный календарь и рано утром, когда все спали, как гном, приходил и менял числа.

Просьпаясь, Маша, всегда ярко одетая, сновала, как большая бабочка, по цветам и кричала Илье:

- Ну, смотри! Вчера было седьмое - теперь восьмое. Как ты это делаешь? Илья, ну, как?

- Секрет! - расставлял руки Илья и улыбался добрым детским лицом, насквозь пропитанным цветами.

А осенью он дарил ей большие яблоки, титовки, на которых по красной стороне проступали зеленые слова: "Барышне Маше", и уверял, что так яблоки выросли сами.

Неусыпно баловал и холил деревья в садах, за каждым смотрел по-стариковски зорко, как нянька, и на поливке говорил о них, как говорят о людях:

- Эти получили почти что по десять ведер вчера, а эти тоже свою долю, что им полагается, сегодня, и аминь... Больше уж проси не проси - не дам до дождей.

И если Анна, обходя с ним сад, останавливалась перед какой-нибудь тощей грушей и спрашивала:

- А отчего-то у этой крона слабая, а?

Илья отвечал тихо, точно боялся, чтобы не услышала груша:

- Прихварывает... Будет ли жива, неизвестно... Нужно будет корень посмотреть... Да вот еще что: золы дать...

От возможности поправить грушу золою он сам ободрялся и повышал голос:

- Ну да - и скорей всего отойдет... Вернее всего, поправится... Золой дать, и только...

И тут же мимоходом срезал у нее две-три лишние ветки и замазывал пластырем раны. И когда Анна всматривалась в деревья, то видела, что каждое действительно имело свое лицо. Подтянутые благовоспитанные груши были похожи на светских барышень или чопорных старых дев, яблони - на рассыпчатых сдобных поповен, сливы - на кудрявых ребят, которые забегались на жару, устали и теперь